

Вступление

«Во мгле мутной и желтоватой»

Начнем с желтого платья. Этому цвету как-то особенно не повезло у Пушкина. В него Александр Сергеевич наряжал наименее симпатичных персонажей. Старухе-графине из «Пиковой дамы» после бала горничные помогают снять желтый туалет. Другая Старуха-покойница в «Гробовщике» «лежала на столе, желтая как воск, но еще не обезображенная тлением». Звездочет и «скопец», весь «как лебедь поседелый», дарит Золотого петушка. За желтым платьем хотят послать к придворной повивальной бабке в «Капитанской дочке», когда Марию Ивановну велено доставить во дворец к Екатерине II...

Уже из этого далеко не полного перечисления¹ видно, что желтое маркирует для Пушкина старость, в том числе и историческую. А также царскую власть, если осознать, что в понятие желтого входит и золото — от жаркого в венце до тусклого: Медный всадник преследует Евгения, «озарен луною бледной». Даже вьюга, из которой выныривает Германн, имеет оттенок желтизны, поскольку герой отходит от светящегося в темноте фонаря. В повести «Метель» сказано: «...окрестности исчезли; во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу». Метель же с вьющимся, как бесы, снегом часто имеет inferнальный смысл: «...все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. <...> ...ветер дул навстречу, как будто сияясь остановить молодую преступницу».

Одновременно желтое и цвет безумия — таковы не просто стены петербургских особняков пушкинского времени, создающие декорацию для перевернутого мира «Пиковой дамы». Таков в тот момент Зимний дворец, привычный нам в зеленом, растреллиевском варианте. Такова Петропавловская крепость. Такова и Обуховская больница — «желтый дом», упоминаемый и в стихах, и в прозе Пушкина. Все вместе поведет к царственному помешательству, которое уже дважды — в 1762 и 1801 годах служило поводом для государственных переворотов...

Это заставляет рассматривать исторический пласт «Пиковой дамы» очень внимательно. Являясь историком, автор не может вторгаться в сугубо литературоведческие сферы. Однако существует целый букет ассоциаций прошлого, понятных тогдашнему читателю и ускользающих от нашего современника. Возвращение таких сведений в круг изучаемой информации способно помочь исследованию повести.

Около двух десятилетий назад появилась статья, в которой мы настаивали на том, что основными прототипами героев «Пиковой дамы» были Екатерина II и Николай I². За прошедшие годы возникли новые доказательства, а сама концепция претерпела серьезные изменения, включив в веер рассмотренных возможностей десятки имен. Ныне нити расследования уводят к Петру I, Павлу I и Александру I, к императрицам Елизавете Алексеевне и Александре Федоровне. Под лупой непрошеного внимания оказываются пушкинские светские знакомые — дружное семейство Хитрово — Тизенгаузен — Фикельмон. А знаменитые властные старухи того времени — Голицына и Загряжская — становятся не более чем прототипами прикрытия.

Чтобы та или иная параллель с текстом повести стала очевидна, иногда приходится углубиться в детали биографий героев. Обнаруживается длинный список дам-иностранок, поделившихся с графиней Анной Федотовной Томской той или иной чертой своей личности. Это и неаполитанская королева Мария Каролина, и ее несчастная сестра, казненная Мария Антуанетта, и мать канцлера Клеменса фон Меттерниха, являвшаяся в виде призрака своей беременной невестке... И шведская баронесса Брита де Бём из пушкинского эпиграфа к пятой главе, сведшая с ума духовидца Эммануила Сведенборга.

Менее всего нам хотелось бы внушить читателю мысль, будто Пушкин бесконечно шифровал свои тексты в надежде на талантливую отгадчика. Такая логика обесценивает реально существующие произведения, а именно они и пленяют читателей. Но в сознании поэта роилось такое количество аналогий, что в настоящий момент риск неверно соединить их выше, чем риск обнаружить нечто, чего в пушкинском мире не существовало.

С лица Пиковой дамы следует снимать маску за маской, пока под дряблой желтой кожей не откроется лицо молодой красавицы в желтом платье.

Часть первая
«СТАРУШКА МИРНАЯ»



Глава первая

«НЕНАСТНЫЕ ДНИ»

Принято считать, что в «Пиковой даме» два потока времени. Они заметны невооруженным глазом и хорошо знакомы читателю. То, что было «до», во времена молодости графини, когда она ездила в Париж и познакомилась с Сен-Жерменом. И то, что происходит «сейчас», на наших глазах, когда Германн пытается выведать у старухи ее три «верные карты». Но «пусть потрудятся сами читатели»³, как призывал Федор Михайлович Достоевский.

Если приглядеться, то каждый из названных потоков слонится, разбивается, как река, на рукава.

«В забавном расположении духа»

Это расслоение, пребывающее внутри себя в хрупкой гармонии, заложено уже эпиграфом к первой главе «Пиковой дамы», вернее его подслоем.

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули — Бог их прости! —
От пятидесяти
На сто,
И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.

Только ленивый и неосведомленный не вспомнил агитационных песен декабристов. Однако в советское время

намеренная «лень» культивировалась. Она была формой искусственного незамечания, натужного зажмуривания глаз на очевидное. То, о чем все знали. Однако говорить, иначе чем в своем кругу, не решались. Печать молчания сломал Натан Яковлевич Эйдельман, обратив внимание читателей на то, что «строчки “А в ненастные дни...” были частью сверхкрамольного агитационного декабристского стихотворения... это настолько очевидно, что в конце прошлого и начале нынешнего века специалисты готовы были допустить: ...что все опасные куплеты написал Пушкин»⁴.

Оба текста даже печатались одно время как единое стихотворение. Эпиграф написан в качестве продолжения песни⁵. Заглянем в ее начало.

Ты скажи, говори,
Как в России цари
Правят.

Ты скажи поскорей,
Как в России царей
Давят.

Как капралы Петра
Провожали с двора
Тихо.
А жена пред дворцом
Разъезжала верхом
Лихо.

Как курносый злодей
Воцарился по ней —
Горе!

Но Господь, русский Бог
Бедным людям помог
Вскоре⁶.

К агитационной песне осталась отсылка в тексте «Пиковой дамы». Во второй главе Томский предлагает прислать бабушке-графине «русские романы». Анна Федотовна просит «такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери...». Слово «давил» является маркером и отмечает связь с не приведенными

в эпитафии, но подразумеваемыми стихами из недавнего прошлого. Словно читателю говорят: да-да, вы правильно догадались.

Стихи агитационной песни были написаны как бы в складчину поэтами-декабристами, известными литераторами того времени, друзьями Александром Александровичем Бестужевым и Кондратием Федоровичем Рылеевым. Первый показал на следствии, что «однажды в 1822 году, в конце, в забавном расположении духа, пригласил он (Рылеев. — О. Е.) меня написать что-нибудь народным языком либеральное, и песню “Ах скучно мне...” написали мы вместе, а некоторые подблюдные я один»⁷.

Уж вы вейте веревки на барские головки;
Вы готовьте ножей на сиятельных князей;
И на место фонарей поразвешаем царей...

Куда забавнее? Популярная в то время песня Юрия Александровича Нелединского-Мелецкого начиналась словами: «Ох, тошно мне / На чужой стороне». У Бестужева с Рылеевым звучала обратная мысль:

Ах, тошно мне
И в родной стороне;
Все в неволе,
В тяжелой доле,
Видно, век вековать?
.....

Уж так худо на Руси,
Что и боже упаси!

Из переписки поэта видно, что и эти строки, и песню про заветные «...острова, / Где растет трын-трава» Пушкин хорошо знал. «Ты, который не на привязи, — писал он Петру Андреевичу Вяземскому 27 мая 1826 года из Михайловского, где находился в ссылке, — как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне *свободу*, то я месяца не останусь»⁸. Настроение было общим. Хотя действия разными.

Признание Бестужева показывает, что Пушкин не сочинял ни агитационных, ни подблюдных песен. Но в дни следствия очень боялся, что его стихи сочтут крамольными и привлекут



Александр Сергеевич Пушкин. *И. Е. Вивьен. 1826 г.*

к делу мятежников именно за них, тем более что списки оды «Вольность», стихотворений «Ноэль на лейб-гусарский полк» и «Кинжал» нашли у многих заговорщиков. 10 июля 1826 года он обращался к тому же корреспонденту:

«Кого ты называешь сорванцами и подлецами? Ах, милый... слышишь обвинение, не слыша оправдания, и решишь: это Шемякин суд. Если уж Вяземский etc., так что же прочие? Грустно, брат, так грустно, что хоть сейчас в петлю. <...>

Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. Если б я был потребован комиссией (следственной. — *О. Е.*), то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое, и, кажется, это не к добру»⁹.

После поездки в Москву и разговора с новым императором Николаем I Пушкин оказался в шатком положении прощенного до следующей каверзы, до следующего повода для недовольства. В самом начале следствия, еще 20 января 1826 года, он адресовался к Василию Андреевичу Жуковскому, готовому хлопотать за него: «...Положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условиться (буде условия необходимы)... Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мной правительства etc.»¹⁰.

Не вдаваясь в обсуждение беседы поэта с царем, отметим, что «условия» появились. Согласно рассказу самого Николая I, он спросил: «Что вы бы сделали, если бы 14 декабря были в Петербурге?» «Был бы в рядах мятежников», — отвечал Пушкин без запинки. «Когда потом я спрашивал его, — продолжал император, — переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать впредь иначе, если я пушу его на волю, он очень долго колебался и только после длинного молчания протянул мне руку с обещанием сделаться иным»¹¹.

Сколько раз отечественное литературоведение раскаивалось за Пушкина в этом рукопожатии! А сам поэт? В 1835 году в переводе Горация Пушкин рассказал о времени, когда «за призраком свободы» его и молодых друзей «Брут отчаянный водил»:

Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно броса щит,
Творя обеты и молитвы?

Как я боялся! как бежал!
Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал
И спас от смерти неминучей.

Эрмий — Гермес в более привычном для современного читателя звучании. Он обладал не только крылатыми сандалиями и зеркальным щитом, но и шапкой-невидимкой, которой поделился с Персеем. Пушкин был укрыт от глаз следствия «незапной тучей», а его «вольнлюбивая лирика» молодых лет стала как бы невидимой.

Однако эпиграфом к первой главе «Пиковой дамы» поэт отсылал читателя не только к знаменитой песне «Ты скажи, говори...», но и ко всему корпусу созданных «народным языком» либеральных стихов, а также к именам Бестужева и Рылеева.

«Кому вынется?»

Проследим эту связь, поскольку она плотно соприкасается с идеей царевубийства, в момент создания повести остро волновавшей Пушкина. Все подблюдные песни проникнуты открытой угрозой:

Как идет мужик из Новагорода,
.....
Он ни плут, ни вор, за спиной топор;
А к кому он придет, тому голову сорвет.

Или

Вдоль Фонтанки-реки квартируют полки.
.....
Разве нет штыков на князьков-сопляков?
Разве нет свинца на тирана-подлеца?

Под «князьками-сопляками» понимались великие князья Николай и Михаил, руками которых августейший брат Александр I старался «подтянуть гвардию». Их тоже предлагалось поднять на штыки. Речь шла уже не об убийстве одного «тирана-подлеца», а об уничтожении царской семьи. Как в пушкинской оде «Вольность»:

Самовластительный злодей,
Тебя, твой трон я ненавижу.
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу.

«Смерть детей», ведь рано или поздно «князьки-сопляки» подрастут и начнут вешать сами. «И я бы мог, как шут...» Ассоциации закручиваются в декабрьскую метель. Эта метель обнимет Германна. И снова вспомнится Бестужев:

Нес кузнец
Три ножа.
Слава!

Первый нож —
На бояр, на вельмож.
Слава!

Второй нож —
На попов, на святош.
Слава!

А, молитву сотворя,
Третий нож — на царя.
Слава!

Припев: «Кому вынется, тому сбудется; / А кому сбудется, не минуется» — оказался пророческим. А что как не вынется? Не сбудется? 14 декабря 1825 года на Сенатской площади восставшим «не вынулось».

Одно мгновенье все решило,
Одно мгновенье погубило
Навек страны моей родной
Надежду, счастье и покой... —

как писал Рылеев в «Войнаровском».

После следствия мятежников ожидала неминуемая казнь, поскольку они — в подавляющем большинстве военные люди — нарушили присягу и подняли оружие против того, кому присягали. Только помилование императора спасло большинство голов. Но пятеро оказались повешены, что навсегда оставило в сердце Пушкина глубокий отпечаток.

Среди повешенных «друзей, братьев, товарищей» был и Рылеев, сам талантливый поэт, подбивший более слабохарактерного Бестужева на сочинение крамольных стихов.

Его отношения с Пушкиным нельзя назвать простыми. В канун высылки молодого поэта на юг в столичном обществе распространился порочащий дворянина слух, будто за крамольные стихи Сверчка (арзамасское прозвище) отвезли в крепость и высекли.

Долгие годы клеветником называли только графа Федора Ивановича Толстого-Американца, знаменитого авантюрными выходками, поединками и широкой карточной игрой¹². Однако сам Александр Сергеевич считал виновником салонных разговоров еще и Кондратия Федоровича Рылеева, который возмущал гостиные рассказом о жестокости императора. Об этом некрасивом поступке писал еще Владимир Владимирович Набоков¹³. Однако в исследованиях советского времени имя второго клеветника выпало, поскольку он вошел в пантеон героев-мучеников 14 декабря, а с ними Пушкину полагалось только дружить.

Есть сведения, что по дороге на юг Пушкин завернул в имение Рылеева Батово и стрелялся с собратом по перу¹⁴. Позднее в «Евгении Онегине» поэт скажет о друзьях:

Что нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной
И светской чернью ободренной,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил стократ ошибкой;
А впрочем, он за вас горой:
Он вас так любит... как родной!

Возможно, этими событиями объясняется то отстраненное чувство к Рылееву, которое заметно в пушкинских письмах с юга. Исследователи объясняют его идейными расхождениями: де, Рылеев, стихотворец-гражданин, воспринимал поэзию как нечто служебное, агитационное. А для Пушкина она сама по себе представляла святыню. Как бы там ни было, но Кондратию Федоровичу начали «подсвистывать» за каждую пуб-

ликацию. То его стихи «отучат меня от поэзии», то «Думы» — «дрянь», то на вратах Царьграда у Рылеева Олег прибывает щит с двуглавым орлом, который в тот момент был гербом Византии, а не Руси¹⁵.

Но после казни пятерых руководителей заговора Пушкин не оставит ни одного прямого отрицательного отзыва о Кондратии Федоровиче. Мученичество искупило его вину в глазах поэта. Другие не были столь душевно щедры. Журналист и филолог консервативного направления Николай Иванович Греч, например, ставил Рылееву в вину, что тот «погубил» Бестужева, человека более талантливого и образованного, способного стать русским Виктором Гюго. «Фанатизм Рылеева силен и заразителен, — писал он в мемуарах, — и потому неудивительно, что необразованный Рылеев успел увлечь за собой людей, которые были несравненно выше его во всех отношениях, например Александра Бестужева... Если бы не Рылеев, то талантливый, блестящий, благородный Бестужев занял бы почетное место в первом ряду русских писателей»¹⁶.

Греч хорошо знал обоих, еще по сотрудничеству в альманахе «Полярная звезда», который создал Бестужев. Пушкин дружески переписывался с последним в период южной ссылки. За порогом следствия сношения прервались. Бестужев раскаялся и отвечал на вопросы о Рылееве откровенно: «Хотя он был лучший мой друг, но для истины не скрою, что он был главною пружиною предприятия; воспламеняя всех своим поэтическим воображением и подкрепляя своею настойчивостью»¹⁷. Согласно его показаниям, они вместе по наущению Кондратия Федоровича летом 1825 года уговорили капитана Александра Ивановича Якубовича и поручика в отставке Петра Григорьевича Каховского выстрелить в царя. Рылеев же предложил самому Александру Бестужеву нанять двух убийц, а его братьям, флотским офицерам, поднять восстание в Кронштадте и снарядить фрегат для отправки обезглавленной царской семьи за границу¹⁸.

Этот темный эпизод в иносказательной форме Александр Бестужев (под своим литературным псевдонимом Марлинский) описал в повести «Фрегат “Надежда”», вышедшей в 1833 году¹⁹. Там герои плывут к берегам Англии — тем самым островам, «где растет трын-трава», но гибнут уже на рейде от внезапно поднявшегося шторма. Отсюда в «Пиковой даме» издевательское упоминание новых русских романов и замечание графини, что ей нужны такие книги, «где бы не

было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!». При отплытии из Кронштадта герои Бестужева слышат сквозь туман семь выстрелов — как раз по числу членов царской семьи, находившихся в момент бунта в Петербурге. Так что утоплены могли оказаться именно тела...

«С промежутками, одно за другим гремели огромные орудия, грозно, таинственно, повелительно! Вы бы сказали: “То голос судьбы, которому вторило небо...” Правин (герой повести. — *О. Е.*) внимал им, как будто своему приговору... Наконец, седьмой, последний выстрел сверкнул и грянул, как седьмая, роковая пуля во Фрейшице (марка пистолета. — *О. Е.*)... Казалось, роковые звуки превратились в иероглифы, подобные надписи, начертанной огненным перстом на стене пиршества для Валтасара!.. <...> Дунул ветер и спалнул эту величественную строфу, этот дивный очерк судьбы!»²⁰

В этом описании слишком много черт далекого, грядущего царевбийства — неоправданная надежда спасения, направленная в Англию, семь выстрелов, утопленные тела, строки на стене из предсказания Валтасару — чтобы оно не обращало на себя внимания исследователя.

Повесть «Фрегат “Надежда”» считается исповедью декабриста, который далеко не все сказал на следствии. Ведь Рылеев был готов поддержать предложение Павла Ивановича Пестеля об убийстве всей царской семьи²¹. А Бестужев многое об этом слышал. Недаром в его тексте рефреном повторяется: «Пусть нас судит Бог и государь!»; «Вы дорогою ценою купите горькое раскаяние»; «Я знаю важность моей вины, знаю требования чести». На следующий день после восстания на Сенатской площади писатель сам явился к императору. «Мучимый совестью, он прибыл прямо во дворец, — вспоминал Николай I, — на комендантский подъезд, в полной форме и щеголем одетый... с самым скромным и приличным выражением подошел ко мне и сказал:

— Преступный Александр Бестужев приносит вашему величеству свою повинную голову»²².

«Отвечай! или я отвечу»

Александр Бестужев действительно очень любил Кондратия Рылеева как друга и действительно очень раскаивался перед Николаем I. В 1829 году ему разрешили отправиться

из Сибири на Кавказ. Еще находясь в снегах, он встретился с немецким ученым доктором Георгом Адольфом Эрманом, участником экспедиции, измерявшей магнитное поле земли. Бестужев рассказал, что именно события на Сенатской площади поколебали его убеждения: «Хорошо известно, как император в тот день, продемонстрировав презрение к смерти, вызвал чувства раскаяния у самых благородных бунтовщиков и усмирил толпу». Узник «не мог без содрогания рассказывать, как государь подошел к нему и с беспредельным презрением во взгляде напомнил о верности покойного генерала Бестужева и подлости его сына»²³. Ни содержание в кандалах в Петропавловской крепости, ни картина гибели товарищей не смогли стереть из его памяти «тот единственный момент».

Письма Бестужева с Кавказа братьям Николаю и Ксенофону Полевым тоже показывают это чувство. Он поминает милость царя, ставит за него свечки. Но вот к Александру Сергеевичу старый друг питал совсем иное чувство. Признавал его «человеком с гением», но считал, будто тот «заблудился в XVIII веке», несмотря на то что «вдохновение увлекает Пушкина в новый мир». Для истории «Пиковой дамы» эта отсылка к XVIII столетию весьма любопытна. «Что такое поэма Пушкина? — Прелестные китайские тени». Весь Петербург в повести будет наполнен тенями, а дом графини — тенями прошлого.

24 мая 1832 года, находясь в Дербенте, Бестужев рассуждал: «Итак знаменитый Белкин — Пушкин! Никогда бы не ожидал я этого... Впрочем, и не мудрено: в Пушкине нет одного поэтического, души, а без ней плохо удается и смиренная проза»²⁴. 22 сентября: «Я всегда знал его за бесхарактерного человека, едва ли не за безнравственного». И делал парадоксальное заключение о прежнем оживленном эпистолярном обмене: «В несколько лет этой переписки он судит совершенно противоположно об одних и тех же лицах. А между тем, я верю его искренности»²⁵.

Зависть к гению? Гений надо еще разглядеть, а на это были способны далеко не все современники. «Рылеев и Александр Бестужев, вероятно, признавали себя такими же вкладчиками в сокровищницу будущей русской литературы, как и Пушкин»²⁶, — рассуждал Петр Вяземский. Их отношение — одна из форм «тайной недоброжелательности». Она проявлялась, несмотря на братские чувства: «Он вас так любит... как родной!» Когда-то Гаврила Романович Державин сам передал корону

первого поэта России не по старшинству, тем, кто давно стоял в очереди, а мало кому известному мальчику. Теперь, когда Пушкин достиг зенита славы, за ним замечали малейший промах и даже успех трактовали не в его пользу. «Я с большим наслаждением читал статью о Державине, — сказано в письме 26 января 1833 года, — я с большим огорчением огляделся кругом, прочитавши ее... где он, где преемник гения, где хранитель огня Весты? Я готов, право, схватить Пушкина за ворот, поднять его над толпой и сказать ему: стыдись! Тебе ли, как болонке спать на солнышке перед окном, на пуховой подушечке детского успеха? Тебе ли поклоняться золотому тельцу, слитому из женских серег и мужских перстней?» Со всей тирадой примиряет только финал: «Таинственный сфинкс, отвечай! Или я отвечу за тебя».

Не стоило и пытаться, хотя по-своему «Фрегат “Надежда”» хорош. Но Пушкин ответил. Если не всей «Пиковой дамой» (ее сюжет зрел давно и независимо от Бестужева), то в ее отрывках. Поэтому не стоит удивляться, что разговор графини с внуком содержит насмешку над новыми русскими романами, помняв именно утопленников Марлинского. А также тому, что в эпиграфе к первой главе Пушкин переиначил агитационную песню Рылеева — Бестужева не без тени иронии.

Еще недавно иронию упорно не замечали и в десятой главе «Евгения Онегина» при описании тайного общества. Только обиженный отзыв Николая Ивановича Тургенева помог разобраться, что, помещая «дружеские споры» о переустройстве мира «между Лафитом и Клико», поэт говорил о «забаве взрослых шалунов», которой те заняты от «безделья молодых умов»²⁷.

То же самое на следствии сказал и Бестужев: «Входя в общество по заблуждению молодости и буйного воображения, я думал через то принести пользу отечеству... Приманка новизны и тайна также немало в том участвовала и мало помалу завлекла меня в преступные мысли. С девятнадцати лет стал я читать либеральные книги, и это вскружило мне голову. Впрочем, не имея никакого положительного понятия, я, как и все молодые люди, кричал на ветер без всякого намерения»²⁸. Ветер окреп до декабрьского.

Если можно было вести вольные разговоры под выпивку, то тем более — во время карточной игры. «Так, в ненастные дни, / Занимались они / Делом». Дело же воспринималось, как «общее» — республика.

Однако если многие стихи молодого Пушкина связывает с агитационными песнями общее настроение (недаром заговорщики в Лещинских лагерях под Киевом использовали его «Вольность» и «Кинжал» именно для привлечения офицеров), то зрелый поэт смотрел на «дело» иными глазами.

В 1830 году он писал: «Умные и честные литераторы станут ли кричать: повесим их, повесим! И аристократов к фонарю»²⁹. В пространной статье «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений», предназначенной для «Литературной газеты», Пушкин отвечал неназванному лицу*, отметившему: «Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия... приготовили крики: Аристократов к фонарю и ничуть не забавные куплеты с припевом: Повесим их, повесим»³⁰. По звучанию и смыслу последние слова — параллель с «забавным настроением», в котором Рылеев и Бестужев написали народным языком свои либеральные песни. Таким образом, в годы создания «Пиковой дамы» сам Пушкин уже не находил их «забавными».

А вот в начале XIX века молодые остролыбы легко переделали слова французской писательницы Жермены де Сталь, сказанные во время визита в Россию Александру I: «Государь, ваш характер есть конституция вашей империи, а ваша совесть — ее гарантия». Именно на них император отвечал: «Я лишь счастливое исключение». Исключение из правила, установленного дворцовыми переворотами. Если учесть, что за плечами Александра I стояли мятеж 1801 года и неявное соучастие в отцеубийстве, то нетрудно понять, как из комплимента получилась шутка: «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой».

Цепочка ассоциаций: «самовластие, ограниченное удавкой» — «царей давят» — «...герой не давил бы ни отца, ни матери» — побежала к «Пиковой даме». Под «героем» понимается император. Но если он «давил... отца», значит, не может считаться героем. Тогда кто герой? Читателю придется потрудиться. Да и нам вместе с ним.

Слова мадам де Сталь представляют собой перефразировку замечания французского публициста революционной поры Никола Шамфора: «Правление во Франции было абсолютной монархией, ограниченной сатирическими песнями». То есть

* Юлиан Григорьевич Оксман считал этим лицом, «вероятно А. И. Дельвига». Юрий Михайлович Лотман приписывал слова самому Пушкину.

смеющимся общественным мнением³¹. Именно такое общественное мнение и старались представить «забавные» агитационные песни Рылеева и Бестужева. Но «у нас, — как писал Петр Вяземский Николаю Тургеневу в 1820 году по поводу испанской революции, — что ни затей, все выйдет Пугачевщина»³². Русский бунт «бессмысленный и беспощадный». Отсюда и упования на «удавку» как меньшее зло по сравнению с гражданской войной, широким кровопролитием, бунтом.

«Славная шутка»

«Славная шутка» госпожи де Сталь приведена Пушкиным в последнем абзаце заметки «О русской истории XVIII века». Этот текст написан в 1822 году молодым поэтом в Кишиневе, в южной ссылке и представляет собой нечто вроде выводов, которые узник сделал, прочитав памфлеты Шарля Массона «Россия в царствование Екатерины Второй» и князя М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России», взятые у приятеля, чиновника Н. С. Алексеева, казначея ложи «Овидий», где состоял и Пушкин. Текст заметки, начинавшийся словами «По смерти Петра...», остался в Кишиневе, когда поэт переехал в Одессу.

После освобождения Пушкина из ссылки в 1826 году Алексеев писал ему несколько раз и, вероятно, предлагал вернуть рукопись, для чего и снял копию, чтобы оставить у себя. Но поэт не проявил интереса к старому тексту. Возможно, потому, что он заключал короткий конспект прочитанных книг, которые теперь имелись в библиотеке самого Александра Сергеевича. А возможно, потому, что заметка стала «вчерашним днем»³³. Выводы 23-летнего читателя* были уже по-новому переосмыслены взрослым писателем. С учетом отправной точки рассуждений, без полного отказа от них, но с иной эмоциональной и философской контаминацией.

Таким образом, если под эпитаф к Первой главе «Пиковой дамы» как бы подложена агитационная песня «Ты скажи,

* Спеша согласиться с хлесткими оценками молодого Пушкина из заметки «О русской истории XVIII века», убежденные седины авторы часто забывают рассказать читателям обстоятельства ее создания: какие тексты лежали в основе, сколько лет было поэту, в каком эмоциональном состоянии он находился в момент Южной ссылки и т. д.

говори...», то под нее саму поэт поместил собственную заметку «О русской истории XVIII века», что видно из отсылки к «славной шутке» про удавку.

Слово «шутка» адресует к разговору Германна и Старухи. За все время графиня произносит только одну фразу: «Это была шутка... Клянусь вам! это была шутка!» Ее незваный гость возражает: «Этим нечего шутить». Так мог бы сказать император, арестовав «взрослых шалунов» после событий на Сенатской площади. В лексиконе того времени слово «шут», ради приличия, заменяло слово «чорт», например, говорили: «Шут его знает». «Шутку» с графиней сыграл лукавый.

Так думал зрелый Пушкин. А вот молодым он придерживался иных взглядов. По структуре заметка «О русской истории XVIII века» близка агитационной песне. Начало этого небольшого текста посвящено эпохе «ничтожных наследников северного исполина» — от «безграмотной» Екатерины I до «сладолюбивой Елисаветы». Центральная часть отдана разбору «прав Екатерины на благодарность русского народа». А последний абзац отведен царствованию Павла I, вернее его свержению.

В агитационной песне начало: «Как в России цари / Правят. <...> Как в России царей / Давят» — говорит об эпохе дворцовых переворотов в целом, то есть о том, что происходило «по смерти Петра...». Центральные куплеты содержат описание мятежа 1762 года — «Как капралы Петра провожали с двора... / А жена пред дворцом разъезжала верхом». Наконец, последние четверостишия ушли на царствование «курносого злодея» Павла I и на помощь «русского бога», то есть на царевубийство 1801 года.

Таким образом, иронизируя над агитационной песней, Пушкин иронизирует и над собой молодым, что встречает параллель с десятой главой «Евгения Онегина», где среди заговорщиков назван и сам поэт: «Читал свои ноэли Пушкин». Зрелый автор смотрел как бы со стороны на «забавы взрослых шалунов», не отрекался от себя в кругу «друзей, братьев, товарищей», а передумывал и усложнял свое видение того момента. «И с отвращением читая жизнь мою... Но строк печальных не смываю».

Настолько же, насколько текст «Пиковой дамы» связан с песней Рылеева — Бестужева, а вернее со всем корпусом их агитационных и подблюдных песен, он связан и с заметкой «О русской истории XVIII века», представляя собой художе-

Портрет Пиковой дамы
в виде карты.
А. Н. Бенуа. 1911 г.



Императрица Екатерина II.
П. Ротари. 1762 г.

ственное раскрытие ее тем, их переложение на язык образов, передумывание и значительное углубление сказанного когда-то в юности.

Учитывая это, проще разобраться с пластами времени, обозначенными в повести «Пиковая дама». Прошлое графини — это «новейшая» русская история применительно к жизни Пушкина, то есть от Петра до Павла. Она разбивается агитационной песней и заметкой «О русской истории XVIII века» еще на три потока. Эпоха переворотов вообще. «Мятеж среди петергофского двора» 28 июня 1762 года. Убийство «самовластительного злодея» Павла I в 1801 году.

Настоящее — период, когда, собственно, и происходят события петербургской повести. Здесь в силу вступает пушкинский эпиграф. «Ненастные дни», когда некие «они» «занимались делом» — момент подготовки переворота, «забавы взрослых шалунов» уже не за лафитом, а за картами. Второй момент — само восстание на Сенатской площади, следов которого в тексте очень много. Третий — период после поражения, когда у офицеров остаются только шампанское, карты и разговоры о деньгах. Ничего высокого. В какой именно период «настоящего» Германн узнает тайну трех «верных карт» и вступает в противоборство с судьбой — предмет особого рассмотрения.

Как видим, оба потока времени — и XVIII, и XIX век — расслаиваются еще на две триады. Или «тройки», учитывая картежный язык повести. Внутри каждой от основных русел отходят еще маленькие рукава. Например, эпизод, когда «лет шестьдесят назад», то есть в 1770-е годы, графиня ездила в Париж, а также отсылки к французской революции. Эти рукава никуда не ведут и обрываются, однако позволяют времени ветвиться.

Следует учитывать и особую нишу, где находится сам автор, рассказывая историю. Он отделен от всего мира и в то же время пребывает везде. Это седьмой если не поток времени, то озеро, спокойная гавань. Или «семерка».

Наконец, все имеющиеся временные линии в повести сдвигаются вместе — накладываются друг на друга. Происходит то же, что позволяет исследователям видеть в парижской гостининой времен Регентства из «Арапа Петра Великого» следы одесской гостининой графини Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой, а в самих дамах искать сходство — не всегда оправданное, но очень соблазнительное³⁴. Стоило бы сюда же прибавить

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru